

авторам прозвище «социал-дьячок» (с. 576) объяснялось просто: Сергей Константинович родился в семье священника.

Владислав Аксёнов: Эмоции как фактор революции

*Vladislav Aksenov (Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences, Moscow):
Emotion as a factor of revolution*

Известные учёные В.П. Булдаков и Т.Г. Леонтьева, уже давно успешно изучающие социокультурные явления и процессы, наблюдавшиеся накануне и в период революции и Гражданской войны в России²⁶, в своей новой книге погружаются в исследование предвоенных настроений русского общества, распространённых в нём образов врагов и союзников, динамики и особенностей религиозных и патриотических чувств, социальных и этнических конфликтов, роли партий в революционизации масс, изменения экономического потенциала страны в годы войны, и т.д. Этот уникальный труд, развивающий и углубляющий прошлые научные изыскания, выгодно отличается от большинства коллективных монографий концептуальной и стилистической целостностью.

Авторы избегают метанарративных концепций, навязывающих прошлому несвойственные для него шаблоны современности, и полагают, что история пока ещё не выработала универсального языка, позволяющего описывать механизмы развития человеческого общества (с. 11). Вместе с тем Булдаков и Леонтьева нащупывают те темы, которые лейтмотивом проходят через всю историю российской смуты XX в. и помогают понять её природу. Одна из них – патерналистские отношения общества и государства, сохранявшиеся в массовой психологии значительной части россиян и препятствовавшие модернизационным процессам, проходившим в социальной, экономической и отчасти политической сферах. Другой сюжет, тесно связанный с патернализмом, основанным на архаичных связях между младшими и старшими членами рода, – насилие, особенно остро проявляющееся в кризисные эпохи. Третья проблема – человеческие эмоции, в определённые моменты истории блокирующие рациональное восприятие действительности и порождающие аффекты, в которых, опять-таки, велика роль насилия. В монографии Булдакова и Леонтьевой отражён процесс накопления в обществе эмоционального напряжения, вылившегося затем в революцию.

Эмоциональное начинало превалировать над рациональным ещё во время патриотической эйфории лета–осени 1914 г. Авторы обращают внимание на особенности официальной пропаганды и поведения подданных Российской империи, которое определялось широким спектром мотивов: от эсхатологической покорности и искреннего желания защитить родину до жадности лёгкой наживы за счёт выпуска соответствующей продукции. Не случайно в монографии упоминается о «карнавальном эффекте» мобилизации, свойственном всем странам-участницам мирового конфликта. На квазипатриотической волне известные персоны нередко опешивали дело благотворительности, обращали сакральное в профанное и наоборот. Булдаков и Леонтьева приводят примеры того, как поездки на фронт знаменитых особ с целью поддержать армию

²⁶ См., например: *Булдаков В.П. Красная смута...*; *Булдаков В.П. Хаос и этнос...*; *Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс. Православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX вв.* М., 2002.

заканчивались закрытыми застольями с офицерами, что порождало неблагоприятные слухи и толки среди солдат. Поэтому неудивительно, что молва, в конце концов, даже сестёр милосердия в полевых госпиталях начинала обвинять в разврате.

Патриотическая пропаганда приводила к смешению «высокого» и «низкого» в изобразительном искусстве, к жанру лубка обращались тогда известные художники — А. Лентулов, К. Малевич, И. Машков, Д. Моор и др. При этом, по словам авторов книги, «воинственная графика порождала скорее недоумение, нежели патриотические чувства. Образованного человека она скорее всего отталкивала своей искусственной легковесностью, а простой человек ни трагедии происходящего, ни опасности поражения не ощущал — мобилизационный эффект лубка вряд ли мог быть высок» (с. 89). Вместе с тем отдельные технические достижения XX в. (в частности самолёт) наполнялись эсхатологическим смыслом. Так, авторы упоминают картину Н. Калмакова «Пушка», на которой было изображено гигантское монстрообразное орудие на мохнатых лапах. Подобные образы встречались и в журнальных иллюстрациях. В «Будильнике» осенью 1915 г. появилась карикатура, изображавшая громадную пушку-паука²⁷. Булдаков и Леонтьева считают возможным даже говорить об особом психотипе личности, воспринимавшей войну как состязание техники, порождавшее «новых дикарей», поклоняющихся «анонимной машине смерти» (с. 114). Отсюда и характерные эмоции военного времени, перетекавшие впоследствии в массовые фобии и неврозы.

Рассуждая о результатах патриотической пропаганды, авторы отмечают её быстрое перерастание в революционную агитацию, особенно характерное для маргинальных слоёв и студенчества. Неопределённость социального статуса и психовозрастные особенности молодёжи делали её особенно податливой на эмоциональные порывы. Отправлявшиеся добровольцами на фронт студенты говорили, что идут умирать за Россию не настоящую, а будущую, и демонстративно выражали неуважение к царю (с. 146). Впрочем, сочетание патриотизма и революционности проявилось в первые же дни мобилизации. Во время известной патриотической манифестации 20 июля 1914 г. в Петербурге наряду с «Боже, царя храни» звучали «Рабочая Марсельеза» и «Варшавянка»²⁸. Протестная риторика не вызовет удивления, если вспомнить о росте забастовочного движения, наблюдавшемся по всей России с мая по июль 1914 г., об уличных боях рабочих с полицией на Выборгской стороне Петербурга и проч.

В крестьянском сознании также происходило разделение понятий «царь» и «отечество». Так, призванный в армию 22-летний крестьянин Костромской губ. Александр Метлин 16 августа 1915 г., будучи в нетрезвом состоянии, матерно ругал императора, заявляя: «Я иду служить за веру и отечество»²⁹. Находившийся на побывке в Вологодской губ. 27-летний крестьянин Василий Кузнецов, георгиевский кавалер, в ноябре 1916 г. говорил: «А мне что царь: я не царю служу, а за веру и родину. А царь у нас кровосос и только истребляет народ»³⁰. Со временем даже у монархически настроенной интеллигенции обнаруживался «патриотизм без царя». «А наш великолепный полковник сидит себе в ставке обузою неподъёмной и в ус не дует, — писал 25 июня 1915 г.

²⁷ Будильник. 1915. № 43. С. 7.

²⁸ ГА РФ, ф. 102, оп. 265, д. 976, л. 23.

²⁹ Там же, л. 52.

³⁰ Там же, л. 125.

Б.В. Никольский. — Нет, в эту династию невозможно более верить. Я верю только в Россию, потому что в ней будущее человечества»³¹.

Однако разочарование в царе не означало стремления к демократии. Критикуя Николая II, многие тут же подыскивали ему адекватную замену. Самым очевидным кандидатом в широких народных массах называли верховного главнокомандующего вел. кн. Николая Николаевича (любопытно, что тогда же ходили слухи, будто царь давно бежал из России). Патернализм, по мнению Булдакова и Леонтьевой, блокировал консолидацию социума на почве новой, демократической гражданственности (с. 86). Какое-то время он мог поддерживаться и подогреваемой властями германофобией, выражавшейся как в бытовых конфликтах, так и в массовых погромах. Как правило, их сопровождала народная молва, выдумывавшая совершенно дикие истории. Например, о том, что немцы сознательно распространяют венерические болезни в прифронтовой полосе, чтобы заразить русских солдат (впоследствии в том же стали обвинять евреев). Извозчики рассказывали своим пассажирам, что в деревнях крестьяне часто принимали велосипедистов за шпионов, отравлявших колодцы³². Рассказывали, как крестьяне на конях бросались за ними в погоню, но догнать не могли — неуловимость была важным атрибутом «внутреннего врага».

Активно использовались в пропаганде сведения о «немецких зверствах» (изнасилования женщин, издевательства над ранеными и т.д.). При этом скудные известия о предосудительных действиях «своих» оправдывались тем, что «мы, мол, за вас бьёмся, а вы даже не позволяете солдатишкам погулять». Авторы объясняют это поведенческим стереотипом, при котором «униженный унижает, угнетаемый ищет свой объект угнетения» (с. 161). Солдатская психология начала быстро распространяться в тылу. Л.А. Тихомиров в 1915 г. обращал внимание на то, что в Московской губ. участились случаи изнасилования женщин солдатами. Это происходило даже рядом с Троице-Сергиевой лаврой³³.

В целом «возникла опасность того, что внешний враг уподобится своему внутреннему двойнику в лице самодержавной власти, или, напротив, чужая маска “прилипнет” к знакомому лицу. Нечто подобное и происходило» (с. 107). Современники не только осознавали это, но и старались использовать в пропаганде. В условиях жёсткой цензуры фельетонисты и карикатуристы, высмеивая недостатки России, часто переносили действие в Германию. Так, на иллюстрации к известной статье В.А. Маклакова о «безумном шофёре» в несущемся к пропасти автомобиле рядом с водителем изображалась германская императрица, а в подписи к рисунку указывалось: «Немцы о себе»³⁴. Тем не менее читатели хорошо понимали, что речь идёт о катастрофическом положении России. Как полагают авторы книги, тут сказывалось и то, что «со времён славянофилов русская интеллигенция под видом критики Запада подсознательно выражала своё негативное отношение к бюрократической этатизации российской общественной жизни» (с. 107–108).

Эсхатологические сюжеты также легко переносились на родную почву. Авторы указывают на инфернализацию образа Вильгельма II, в частности, в кинематографе. В апреле 1915 г. киностудия «Люцифер» даже выпустила фильм «Антихрист», посвящённый кайзеру. Но в русских деревнях иногда

³¹ Никольский Б.В. Дневник. 1896–1918. Т. 2. СПб., 2015. С. 220.

³² Дневник Л.А. Тихомирова. 1915–1917. М., 2008. С. 84–85.

³³ Там же. С. 99.

³⁴ Будильник. 1915. № 42.

Антихристом объявляли Николая II³⁵. Одной из персонификаций Антихриста в народном фольклоре выступал иудейский царь Ирод. Любопытно, что крестьянское сознание проводило параллель между гибелью невинных в Первой мировой войне и убиением младенцев. Крестьяне Воронежской губ., ожидая второго пришествия, толковали: «Говорят, что народится Ирод. Вот и народился Ирод — это наш царь Николай»³⁶. Царя награждали и такими эпитетами, как чёрт или леший³⁷.

Вероятно, фатальной ошибкой официальной пропаганды было то, что правящие круги и поддерживавшие их представители интеллигенции не учли эмоциональную природу патриотизма и пытались выстроить на его основе некую рациональную концепцию, отталкиваясь то от абстрактного противопоставления «славянства» и «германизма», то от идеи о русском народе-богоносце и т.д. Однако, по словам Булдакова и Леонтьевой, «в российском патриотизме был слишком силён эмоциональный компонент, что придавало ему эфемерный характер» (с. 146). Скоротечные настроения и чувства выветривались из массового сознания, как только власть и её носители переставали соответствовать общественным идеалам.

Авторы книги считают, что патриотизм в целом угас в обществе уже к концу 1914 г. Это подтверждается и активностью кинопредпринимателей: с августа по декабрь 1914 г. были сняты 43 военно-патриотические картины (8.6 картин в месяц и 18% от всех фильмов, снятых за год), тогда как за весь 1915 г. — всего 17 фильмов (1.4 в месяц и 4.6% от всей кинопродукции), а за 1916 г. — 6 (0.5 в месяц и 1.2% от всех картин)³⁸. Причём данный спад нельзя объяснить экономическими причинами (плёночным кризисом и т.п.), поскольку в самом плодотворном 1916 г. было выпущено 499 фильмов, включая короткометражные, — в 2 раза больше, чем в 1914 г. Массовый зритель требовал новых впечатлений (среди жанров лидировала салонная драма), квасной патриотизм ему наскучил.

Религиозное самосознание также находилось в состоянии кризиса. Авторы отмечают, что в России «между верой и паствой стояла церковь — жёстко иерархизированная и бюрократизированная структура» (с. 221). Рост усталости солдатской массы от войны был прямо пропорционален падению престижа полковых священников, которым предписывалось наблюдать за политическими настроениями солдат и вести патриотическую пропаганду, вызывавшую с некоторых пор раздражение: «Упование на Бога, вера в силу молитвы и охранительную мощь креста сохранялись у них только в начале войны. Боевые неудачи, голод, вши, плохое обмундирование, инфекционные болезни, а равно и слухи об “измене” царя и царицы, похождениях Распутина резко снизили уровень “окопной религиозности”» (с. 244). Неудивительно, что учащались случаи богохульства, а солдатский фольклор породил образ волочившегося за сестрой милосердия попа. «Антипоповские» настроения получили распространение и среди солдаток (с. 270). Всё это накладывалось на разнообразие

³⁵ РГИА, ф. 1405, оп. 521, д. 476, л. 442, 443 об.

³⁶ Там же, л. 332.

³⁷ Там же, л. 443 об. О смешении политических и религиозных концептов и смыслов в сознании обывателей подробнее см.: *Леонов С.В.* «Разруха в головах»: к характеристике российского массового сознания в революционную эпоху (1901–1917 гг.) // *Ментальность в эпохи потрясений и преобразований.* М., 2003. С. 95–172; *Колоницкий Б.И.* «Трагическая эротика»... М., 2010.

³⁸ Подсчитано по: *Вишневский В.* Художественные фильмы дореволюционной России (Фильмографическое описание). М., 1945.

народные поверья, нередко весьма далёкие от православных догматов. Среди крестьян, в частности, бытовало представление о том, что очередное убийство Христа станет началом новой, счастливой жизни³⁹. В военное время миссионеры отмечали дальнейшее расцерковление прихожан и усиление авторитета всевозможных мистических сект. Так, в 1915 г. только в Ставропольской епархии из православия ушёл 481 человек⁴⁰.

Рост «показательной обрядности» в первые месяцы войны авторы вполне оправданно относят скорее «к области магического, чем религиозного» (с. 261). В газетах и журналах тогда отмечали заметный всплеск интереса обывателей к гаданиям на картах, хиромантии, нумерологии и проч. Власти пытались бороться с нездоровыми проявлениями мистицизма. Некоторые губернаторы запрещали публикацию каких-либо пророчеств о будущем⁴¹; 19 февраля 1915 г. товарищ министра внутренних дел разослал по губерниям циркуляр: «Прошу воспретить бродячим шарманщикам продажу публике билетов с предсказаниями о войне и мире»⁴². Но подобные запреты ни к чему не приводили. Убийство Распутина в декабре 1916 г. породило новую волну слухов: дух старца якобы продолжал влиять на политику, вселяясь в тех или иных членов Совета министров (чаще других называли А.Д. Протопопова)⁴³. В начале 1917 г. в частных письмах горожане называли правительство «спиритическим», приписывая ему общение с духами⁴⁴.

Понять природу стихийных событий февраля 1917 г. без учёта предшествовавшей им «эмоциональной истории» трудно — велик будет соблазн скатывания в вульгарную конспирологию. Между тем, как пишут Булдаков и Леонтьева, «проницательность наблюдателя грандиозных событий (как и историка) состоит не в том, чтобы найти “виновника” того, что не укладывается в обыденное сознание, а в том, чтобы за “стихийностью” происходящего признать логику более высокого порядка» (с. 446). В толпе эмоции заразительны, и авторы верно отмечают, что в февральские дни один только вид истерично вопящей женщины, требовавшей хлеба, делал из рядового обывателя революционера. При этом практически всеобщее принятие революции — аристократией, офицерством, солдатами, рабочими, студенчеством, духовенством — объяснялось тем, что каждый невольно выдавал желаемое за действительное: кто-то видел в случившемся лишь отстранение от власти Николая II, кто-то — начало демократических перемен, и т.д. В основе восприятия революции большинством её современников и участников лежала не осознанная рациональная концепция, а массовый эмоциональный порыв, типичный и даже «банальный» для любых человеческих обществ (с. 452).

История российской смуты — это в том числе и история столкновения архаично-традиционных и современных систем, в котором патерналистское сознание населения играло порой неожиданные роли. Вместе с тем, хотя патернализм, безусловно, порождает свой психотип, проблема соотношения в человеке культурно-приобретённого (включая все социальные связи) и психически-врождённого (характер) вряд ли может быть решена в рамках

³⁹ РГИА, ф. 1405, оп. 521, д. 476, л. 278 об.

⁴⁰ Там же, ф. 797, оп. 86, отд. 3, ст. 5, д. 136а, л. 159.

⁴¹ ГА РФ, ф. 102, оп. 73, д. 86, л. 4.

⁴² Там же, л. 2.

⁴³ Там же, оп. 265, д. 1069, л. 186.

⁴⁴ Там же, д. 1068, л. 95.

одной исторической науки. Впрочем, Булдаков и Леонтьева не надеются на помощь смежных дисциплин. Как им кажется, «беда социологизирующих авторов в том, что они всякий раз пытаются хаос эмоций перевести на язык удобной для них “логики”» (с. 697). Но ведь и их книга вскрывает сущность и ту логику событий прошлого, которая с определённого момента сделала неизбежной российскую революцию, указывает на «деиндивидуализацию» истории, выдвигающую на первый план не замысел её деятелей, а страстную человеческую природу (с. 698).

Исследуя общие системы – патернализм, религиозность, патриотизм и т.д., авторы не забывают о «маленьком человеке», его «банальности» и «глупости». Характерно, что эпиграфом к книге стали строчки Г. Иванова: «Рассказать обо всех мировых дураках, / Что судьбу человечества держат в руках? / Рассказать обо всех мертвецах-подлецах, / Что уходят в историю в светлых венцах?..» В конце монографии, «вместо заключения», Булдаков и Леонтьева предлагают собственную формулу смуты: «Что же определяло спектр противоречивых настроений периода войны и революции в России? Можно сказать просто: “глупость правителей”, на которую некогда надеялся революционер К. Маркс, сомкнулась с эмоциями того “дурака-зверя”, который, по словам П. Сорокина, просыпается во всякой революции» (с. 698).

Несовершенство природы человека, неустойчивого перед соблазнами (особенно в экстремальной обстановке), заставляет задуматься о соотношении «системного» и «внесистемного» в его поведении. Являлся ли «дурак» порождением патерналистско-традиционной системы, изменение которой превращается в рецепт от «глупости», или же эта «дурость» сугубо биологического происхождения, и тогда особое внимание к патернализму излишне? Нельзя не отметить и то, что, по мнению М.М. Бахтина, в традиционном сознании «глупость» являлась своеобразной «изнанкой правды» и при случае оборачивалась «вольной праздничной мудростью, свободной от всех норм и стеснений официального мира, а также и от его забот и его серьёзности»⁴⁵. В современном русском языке «дурачество» и «баловство» могут использоваться как синонимы, однако крестьяне под «баловством» нередко понимали погромы, поджоги, грабежи и проч. «Деревенские жители рассказывают, – 17 октября 1916 г. записал в дневнике Тихомиров, – что у них, по деревням, очень “большое баловство”, т.е. другими словами – грабежи. Очень плохой признак. Бабы говорят, что жить стало страшно»⁴⁶. «Дурак» порою оказывался не так далёк от смутьяна, разбойника или даже революционера.

Авторское противопоставление граждански развитых и недоразвитых обществ⁴⁷ предполагает линейность развития, позволяющую изжить пережитки прошлого. Вместе с тем не исключено и то, что в массовом сознании постоянно сосуществует несколько пластов разной степени рациональности, и в критической ситуации они напоминают о себе в обществах всех типов. «Дурость» или иррациональность, сидящая в каждом человеке, но на разной глубине, вполне может носить обратимый и временный характер.

⁴⁵ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 148.

⁴⁶ Дневник Л.А. Тихомирова... С. 295.

⁴⁷ Например, в главе «Динамика и очаги социального бунта» племенная бестиаризация врага представлена как признак «граждански недоразвитых обществ» (с. 283).